

Григорий Померанц

Творчество и нажива

После XX и XXII съездов, когда рухнул культ Сталина, одновременно рухнула вся пирамида ценностей, на которой держалось советское общество. Вместо живого бога остался уголовник:

Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!

Идеологическую гегемонию захватило армянское радио. В 1962 экскурсоводы, провожавшие автобусы на Рицу, развлекали публику вопросами:

- Можно ли построить коммунизм в Грузии?
- Нельзя, потому что коммунизм не за горами.
- Можно ли построить коммунизм в Дании?
- Можно, но жалко. И т.д. и т.п.

Однако Хрущев в коммунизм верил. И во имя этой веры разорял то, что еще оставалось от крестьянского хозяйства: урезал приусадебные участки, отнимал коров. И на всякий случай перенес дату окончательной победы коммунизма с 1965 года (как установил Сталин) на 1985 год. А в нижних слоях народа держалась поговорка: с этими людьми коммунизма не построишь. С другими людьми, значит, – еще можно.

Все это окончательно рухнуло, когда началась перестройка. Примерно в срок, установленный Хрущевым для торжества коммунизма, пирамиду стали перестраивать, и она превратилась в груды мусора. Наступило (как уже сказал кто-то) время мародеров, почти не прикрывающих свою мерзость. А между тем, идеалы гуманизма вовсе не были личной собственностью Маркса. Маркс только по-своему пересказал их (в одном из томов «Капитала»: «бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель»).

Мысль Маркса восходит к виконту Шефтсбери и Жан-Жаку Руссо, к просветительской вере в совершенство человеческой природы; а дальше, в глубине веков, маячила Телемская обитель, на воротах которой Рабле написал: «Делай, что хочешь».

В сознании Рабле, Шефтсбери и Маркса незаметно сохранился Адам, созданный Богом и безгрешный в своих райских кущах. Никто из них не замечал, какие в нем прячутся гены, какие динозавры могут развернуться и развратить любой Теллем, любую планету смешного человека. К этому подбирались только одиночки: Дидро в разговоре с племянником Рамо, Достоевский в «Записках из подполья». Хотя о генах тогда ничего не слышали. Достоевский только угадывал, чутьем художника, что апокалиптические видения, приходившие к нему в голову, никак не ладятся с его же современным, дробящим умом; что этот современный ум несовместим с чувством Целого, сквозящим в каждой частности. И достаточно одной «бациллы» дробящей логики, чтобы все распалось. Сон прямо кончается этим распадом...

Такова же судьба эрзац-мифов, сочиненных утопистами по всем правилам их разума; в том числе – теории Маркса. И нельзя сводить к извращениям, что она осуществилась в антиутопии Соловков, Воркуты и Колымы.

Что же началось, когда пирамида рухнула? Когда рухнула идея Протагора, что человек – мера всех вещей? Когда рухнула идея Пико делла Мирандолы, что человек, сам по себе, без вдохновения таинственным, непостижимым творческим духом, может достичь любого совершенства?

Осталось созерцание, дошедшее до глубин духовного света. Остались муки богооставленности, терзавшие душу, пока дух творчества снова не наполнит ее. А если душа закрыта для него и даже тоски о нем не чувствует – остается жажда наживы. Нажива денег, дающих власть. Нажива власти, дающей деньги. Или, на худой конец, – недолгий чувственный восторг,

водка, героин и смерть. Выбор простой и жесткий: творчество – или нажива со скрытой в ней, как в портрете Дориана Грея, смертью.

Творчество может быть скромным, незаметным: творчество учителя, творчество библиотекаря, работающего с читателем и т.п. Но в любом случае оно требует чуткости, воли, настойчивости, ухода от суеты... А если воли и настойчивости нет, то ленивое большинство тянется назад, к утраченным иллюзиям. К иллюзии светлого будущего или к иллюзии посмертного блаженства. Без понимания, что вечность либо здесь, теперь – или ее нигде нет.

Впрочем, сегодня борются не только эти две большие иллюзии. Есть целые отрасли промышленности, фабрикующие иллюзии–однодневки. Есть иллюзии, вырастающие на самом пути выхода из царства иллюзий. Есть иллюзии свободы, иллюзии любви, иллюзии творчества. Есть (все-таки есть) подлинная глубина – и есть иллюзия глубины. Есть образ соборности как единства, сохраняющего свободу, и есть иллюзия соборности...

И ведь вот в чем дело: нет такой иллюзии, в которой – только иллюзия и ни крошки правды. Даже мираж в пустыне несет в себе кусочек правды в сильно нагретом воздухе, который подхватывает образец издалека и уносит его за сотни верст. Каждый предмет, увиденный глазами, надо еще увидеть умом. И каждую идею, воспринятую умом, надо провести сквозь глубокое сердце, как сквозь рентген, чтобы высветить гиперболы, литоты и прочую фальшь...

Если повернуться к слову «соборность», то в нем очень много оттенков. Это и простой перевод на русский язык латинского «кафоличность», вселенскость, только в византийском произношении, а в латинском произношении это католичность; т.е. вселенское католичество... В студенческие годы мне пришлось познакомиться с полемическим трактатом против латинян, то есть католиков, а назывался он «Венец веры кафолической». И в слове «соборность», воспринятом в потоке русской

традиции, есть такой же антикатолический привкус, есть оттенок разделения, а не собрания, воссоединения, экуменизма.

Но соборность – это не просто собрание. Это собрание свободных, независимых людей, захваченных общим духом, а не принуждением, не загнанных, а именно собранных, не в загоне, а на полной душевной воле. И я думаю, что Хомяков, современник Николая I, отгораживался в слове «соборность» не только от избытка разделения, обособленности в западной культуре, но и от избытка принуждения на Руси. А дальше это слово приобретало разные, прямо противоположные смыслы. В одних устах – подчинение высшим авторитетам (авторитетность которых все менее и менее идет от полноты духа), а в других – диалог, дружеский спор, над которым встает дух общей любви к целостности Истины, к цельности Христа, к единству Троицы.

Я думаю, что спор между Хомяковым и Герценом в сороковые годы XIX в. до какой-то степени укладывался в рамки соборной любви к истине. И лишь понемногу, в полемике стал партийным, обособлявшим западников от славянофилов. Однако это не помешало Герцену снова повернуть к критике Запада. Хотя его «соборность» опиралась на русскую крестьянскую общину и дружески объединялась с польскими католиками, отделенными от русского славянофильства пропастью истории.

Пойдем теперь поближе к современности – к «Вехам». Сборник этот задумал Михаил Осипович Гершензон, не православный и даже не христианин, исповедник иудаизма, однако глубоко чувствовавший русскую культуру. И условием участия в сборнике он выдвинул совершенную независимость авторов, обязательство не читать друг другу фрагменты, не советоваться друг с другом. Тем не менее, мыслители «Вех» были связаны каким-то общим духом и выразили в сборнике этот общий дух (позволю себе высказать, не доказывая, – дух той «тысячи русских общеевропейцев», о котором Версилов говорит своему сыну). С самого начала «Вехи» принимают (сперва только немногие), а чаще отвергают – как целое, как

верность или как измену лучшим традициям интеллигенции. Примерно на 1040 собраниях за «Вехи» высказалось около 70 аудиторий, а 970 – против. Грубо говоря, 97% против 3% резолюций.

Потом положение изменилось. «Вехи» были признаны воплем из глубины русского духа против политических страстей. Одно выдержало испытание крутого поворота: единство «Вех». «Вехи» остались собором, сложившимся из мыслей независимых авторов, шагавших каждый по своей тропинке, не оглядываясь на большинство голосов, не боясь остаться изгоями. Соборность «Вех» органически сочеталась с персонализмом. Этот персонализм острее чувствуется в Бердяеве, менее в некоторых других, но в какой-то мере он характерен для всех. Соборность «Вех» персоналистична и рождает диалог, дух которого витает над различием личных реплик.

Только неудача модернизации, неспособность войти в жизнь высоко развитых стран породила лидеров, смешавших западничество и почвенничество в один тотальный клубок, где о диалоге не могло быть и речи, а только монолог отца и учителя. И по мере опоминания от псевдособорности, навязанной страхом, все чаще и чаще вспоминаются слова Достоевского о сильно развитой личности, написанные лет через двадцать после Хомякова, а от нынешних дней за 150 лет. «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, не испытывающая за себя никакого страха, не может найти себе никакого другого применения, кроме как отдать себя всю всем, чтобы и другие стали такими же полноправными и свободными личностями...»¹

Страна, сложившаяся в византийском культурном кругу и затем, после блуждания в степи, нашедшая себе новое место в западном культурном круге, не может избежать внутреннего диалога. Где мы находим подлинную соборность? В «Вехах». А где мы находим подлинный персонализм? В тех же «Вехах». Дух единства и личная окраска реплик сливаются в одно целое. Нельзя зачеркнуть след великого искусства, нашедшего себя в иконах и

¹ Прошу прощения, что цитирую наизусть: нет под руками книги.

фресках XIV–XV вв. И нельзя зачеркнуть след великой литературы XIX века, от Пушкина до Чехова, с особым упором на всемирные вершины – Достоевского и Толстого. Необходимость диалога Рублева и Дионисия с Толстым и Достоевским почувствовал впервые Андрей Тарковский. И есть еще одна задача, сформулированная Достоевским в романе «Подросток» (я бегло об этом уже сказал) – преодолеть разобщенность европейских культур и создать культуру «тысячи русских общеевропейцев», постоянно расширяя круг этого диалога и втягивая в него вершины Дальнего и Среднего Востока.

Эту сверхзадачу надо иметь в виду, решая частные русские проблемы. И пусть еще не родились гении, способные решить ее так, как решали свои задачи гении XV в. и гении XIX века; но мы в силах мостить им дорогу. И пусть они превзойдут наши слабые попытки и снова уведут Россию от наживы – к творчеству.